

МОСКВА

ПАМЯТНЫЕ
ДАТЫ

2007



2 марта ~

180 лет

со дня рождения

Е. Баратынского

«ВЫНЕС Я МНОГО СМЯТЕННОЙ ДУШОЮ...»

В ОТ ДВА мнения о поэзии Евгения Баратынского, высказанные еще при жизни поэта. Первое: «Гармония его стихов, свежесть слога, живость и точность выражения должны поразить всякого, хотя несколько одаренного вкусом и чувством».

И второе: «...Перечтите все стихотворения г. Баратынского; что вы увидите в каждом из лучших? Два-три поэтические стиха, вылившиеся из сердца; потом риторичку, потом несколько прозаических стихов; но везде ум, везде литературную ловкость, умение, навык, щегольскую отделку и больше ничего».

Не будь цитаты так пространны, я вынес бы их в эпиграф. Не только потому, что оба мнения принадлежат людям, чей литературный авторитет для нас бесспорен: первое — Пушкину, второе — Белинскому. Но главным образом потому, что полярные эти оценки как бы символически выразили долгую посмертную судьбу поэта, которая далеко не всегда была счастливой или хотя бы относительно благополучной. Десятилетия восторженного преклонения перед Баратынским сменялись годами холодного забвения. Словно время то брало себе в современники, то отшатывалось от этого трагического, не умевшего обольщаться иллюзиями поэта.

Даже в такой простой вещи, как написание его фамилии, и то до сих пор нет полного согласия. Будучи урожденным Баратынским, он в большинстве случаев так и подписывал свои письма и официальные документы, но под стихами всегда ставил: «Баратынский», и только на титуле последней своей книги «Сумерки» выставил родовое имя. Все же он вошел в историю русской поэзии как Баратынский, и нарушать эту традицию, как это нынче пытаются делать иные литературоведы, нет необходимости. Тем более что именно через «ка» писали его фамилию все русские классики.

Между прочим, очередная волна его признания поднялась сравнительно недавно. Что и зафиксировано уже в самом названии одной из статей о поэте, опубликованной несколько лет назад, — «Возвращение Баратынского». Да, он вновь возвращен нам или — лучше сказать — возвращен нами, почувствовавшими душевную потребность в такой поэзии.

Ее главная, бьющая в глаза примета — безыллюзорность.

Она нет-нет да и давала о себе знать еще в ранних, юношеских его стихах, переполненных воспоминаниями о дружеских пирушках и любовных интрижках. В самые, казалось бы, искрящиеся весельем минуты он вдруг серьезничал: «Верь тот надежде обольщающей, кто бодр неспытным умом...». Или пуще: «С тоской на радость я гляжу, — не для меня ее сиянье...».

А ведь юноша Баратынский не был меланхоликом. Он любил жизнь, любил радость, был счастлив ей отдаться и отдавался ей: «Часы летят! — Скорей зови богиню милую любви!» — так торопил, понакул он грядущее наслаждение. Но с другой стороны — иллюзиями не питался. Он чувствовал, что не может, что не в состоянии ощутить всю полноту разгоревшейся до «сиянья» радости, и тосковал, что такое — не для него.

Но почему — не может? Отчего — не в состоянии?

На то были самые конкретные жизненные причины. В шестнадцать лет за дерзкую выходку Баратынский был исключен из Пажеского корпуса без права поступления на какую-либо службу, кроме солдатской.

Поначалу он взялся тянуть солдатскую лямку, рассчитывая в самом скором времени добиться производства в офицеры, чтобы занять достойное место в обществе, откуда его изгнали.

Но не тут-то было! Только через год ему дали унтер-офицера

и в этом старшем солдатском звании отправили служить в Финляндию. А там долгое время отклоняли любые ходатайства об офицерстве. Не потому, что для этого не находили оснований: Баратынский служил исправно.

«Как вечно наказывать того, который еще не достиг до законного возраста? — недоуменно писал об этом Вяземский. — Какое затмение, чтобы не сказать: какое варварство!»

Самолюбивый Баратынский очень чувствовал это «варварское» отношение к себе. И когда наконец пришло долгожданное производство в офицеры, когда, стало быть, ему открылась возможность поступить на любую службу, какую пожелает, — он отозвался на это весьма своеобразно: служить не стал.

Он вышел в отставку, женился, и жизнь его потекла ровно и благополучно. «Тихий сон тихого счастья», — как он однажды сказал о ней. И правда — «тихая», без каких-либо заметных внешних потрясений. Его не задела даже страшная волна правительственного террора, искорежившая многие судьбы после разгрома декабристов. Он ведь не был декабристом. И не писал, как Пушкин, вольнолюбивых стихов, которые находили в бумагах арестантов.

Но, прожив десять лет после армейской ссылки и оглянувшись на годы этого «тихого счастья», он сказал вдруг, что они «были мне тяжелее всех годов моего финляндского заточения».

И это не было проявлением минутного каприза. Это подтверждает духовное самочувствие Баратынского, которое, как показывают его зрелые стихи, было у него куда тяжелее прежнего.

Он, который даже в унтерском мундире признавался, что живет «для жизни жизнь любя», теперь ощущает жизнь как сплошную бессмыслицу. Самые простейшие, обычные, обыденные вещи раздражают его. Даже такие, как смена дня и ночи. И он не скрывает своего раздражения, наблюдая, «как утро встанет, без нужды ночь сменяет, как в мрак ночной бесплодный вечер канет, венец пустого дня!».

«Без нужды... бесплодный... пустой» — как характерен здесь один только отбор слов! Характерен — то есть непосредственно связан с характером Баратынского, с его духовным состоянием.

Оно таково, что не только настоящее не радует теперь поэта, он и в грядущее всматривается с ужасом:

Прошли вена,
и тут моим очам
Открылася ужасная картина:
Ходила смерть по суше,
по водам,
Свершилася живущего
судьбина.
Где люди? где?
Скрывались в гробах!

Легко, конечно, счесть это плодом больного воображения. Но трагические предчувствия, терзавшие поэта, родились не вдруг, не на пустом месте, не без связи с окружающей Баратынского жизнью. Стихотворение, откуда взяты только что процитированные строчки, являет собой напряженное философское размышление. Поэт поэтапно прослеживает развитие цивилизации, прогресса техники и науки, того самого прогресса, начальную пору которого застал Баратынский.

Был ли он ретроградом? Мы еще увидим, что не был. Сейчас скажем только, что трагизм Баратынского шел от сознания того, что духовные ценности вытесняются в современном ему обществе прямым утилитаризмом. Он так и пишет об этом в стихотворении «Последний в-»:

Век шествует путем своим
железным,
В сердцах корысть,
и общая мечта
Час от часу насущным
и полезным
Отчетливей,
бесстыдной занята.

«Корысть» и «бесстыдство» — не случайно Баратынский указывает именно на эти черты современников. Это было то, чему он противостоял и на что особенно болезненно реагировал.

Впрочем, противостоял — не значит боролся. Указывал — да, констатировал — да, но бороться было не в его характере.

Во всяком случае в зрелом возрасте. Прежде, в юности, Баратынский был лично оскорблен и унижен. Сосланный в солдаты, он мечтал о воле, рвался на нее — то есть видел цель и жил ради цели. Это укрепляло и закаляло его дух.

А теперь? Я сказал, что Баратынского не коснулись репрессии, последовавшие за разгромом декабристов. Уточню: внешне не коснулись. Но ведь он был поэтом, то есть человеком, чье духовное самочувствие особенно зависит от любых изменений общественного климата страны. Баратынский ощущал эти изменения, понимал, что значит для отечества создание Третьего отделения во главе с Бенкендорфом и другие репрессивные меры николаевского режима.

То есть теперь не он один, а уже вся страна оказывалась в униженном и оскорбленном положении. Надо ли удивляться, что в современном Баратынскому обществе махровыми цветами распустились корысть и бесстыдство? Что мог сделать Баратынский? Открыто указывать обществу на это? Он указывал, предостерегал, пророчествовал. Бороться с этим? Но во имя чего, во имя какой цели? Он ведь не был декабристом и не разделял их программы. Не был он и революционером, который мог бы предложить обществу какие-то радикальные изменения.



Так и получилось, что он обречен был жить в той реальности, которую не принимала его душа. Это не могло не сделать его дух, как выразился он сам, «боящим».

Он попытался было ухватиться за то, что врачевало его «боящийся дух»: за поэзию, искусство. Но очень ненадолго. Осмотревшись вокруг, он с ужасом увидел, что искусство тоже обречено, что оно никому не нужно:

Исчезнули при свете
просвещения
Поэзии ребяческие сны,
И не о ней хлопочут
поноленья,
Промышленным заботам
преданы.

Разумеется, с высоты сегодняшнего дня видно, что Баратынский, что называется, «сгустил краски»: и поэзия живет, и развитие цивилизации не привело к гибели планеты. Но и говорить, что поэт кругом оказался неправ, было бы тоже неразумно.

Баратынский мрачно смотрел на окружающую его жизнь. Но это вовсе не значит, что он напрочь отказывался от всех ее радостей. Нет. Он рад был почувствовать полноту бытия. Но чувствовал ее так редко, что жизнерадостное стихотворение «Пироскаф» многие его исследователи склонны считать совершенно неожиданным и вообще нехарактерным для поэта.

И вправду — какой, казалось бы, резкий контраст постоянному самоочувствию являет собой ликующее чувство, охватившее Баратынского, когда он ступил на палубу парохода, который был тогда еще в диковинку (кстати, эта техническая новинка привела поэта в неистовый восторг — вот вам и ретроград!):

Много земель
я оставил за мною;
Вынес я много
смятенной душою
Радостей ложных,
истинных зол;
Много мятежных решил я
вопросов,
Прежде чем руни
марсельских матросов
Подняли якорь,
надежды символ!

Но обратите внимание — он и в радости помнит о трагедии. Упиваясь полнотой бытия, он не забыл, сколько ему пришлось вынести «смятенной душою» и что именно сделало его душу «смятенной». И от этого — оттого, что не забыл, что помнит, — его гармония для нас особенно весома. Ведь в этой легкости — преодоление тяжести.

То есть и неожиданное это стихотворение несет на себе приметы стиля поэта, запечатлевает его духовное бытие, которое, как и уверял Баратынский, «найдет далекий мой потомок в моих стихах».

Он скромно (даже чересчур) оценивал собственное дарование: «Мой дар убог, и голос мой негромок...». И все же, задумываясь о «далеком потомке», выражал робкую надежду на то, что «как знать? душа моя окажется с душой его в сношении, и, как нашел я друга в поколении, читателя найду в потомстве я».

Это «как знать?» очень выразительно. Будто Баратынский предвидел, что потомки поразному отнесутся к его поэзии. То будут превозносить ее, как Пушкин, то, как Белинский, низвергать.

Впрочем, мнение Белинского, о котором я писал вначале, не было окончательным даже для него самого. Спустя несколько лет, прочитав последний сборник Баратынского, великий русский критик сказал: «Из всех поэтов, появившихся вместе с Пушкиным, первое место бесспорно принадлежит г. Баратынскому».

Именно так мы и относимся к Баратынскому сегодня — не просто как к одному из поэтов знаменитого «пушкинского круга», но как к поэту, которому в этом кругу бесспорно принадлежит первое место.

Геннадий КРАСУХИН